



БІМ ТОКАТИЛ

ОДИССЕЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО АЛИБИ

Бом Томбадилл

**ОДИССЕЯ: ИСТОРИЯ
ОДНОГО АЛИБИ**

«Автор»

2026

Томбадилл Б.

**ОДИССЕЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО АЛИБИ / Б. Томбадилл —
«Автор», 2026**

**ТРОЯ ПАЛА. ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ.НО ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО
НАЧИНАЮТСЯ.Одиссей хочет домой. Боги хотят понаблюдать.Жена
хочет верности. Сын хочет отца.Женихи хотят власти. А Посейдон —чтобы
Одиссей страдал.Двадцать лет приключений, нелепостей,божественных
интриг и человеческой хитрости —в ироничном пересказе великого эпоса.Без
академической пыли. Без скучных отступлений.Только суть, сарказм и
море проблем.ГЕРОЙ. ЛЕГЕНДА. МНОГО ОПРАВДАНИЙ.ЭТО ЕГО
ОДИССЕЯ.«За каждым великим путешествиемстоит отличный рассказчик.На
этот раз — сам Одиссей.»**

© Томбадилл Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Итака в трауре	5
Глава 2. Телемах отправляется в путь	9
Глава 3. У Нестора в Пилосе	13
Глава 4. У Менелая и Елены	17
Глава 5. Итака: женихи готовят засаду	21
Глава 6. Огигия: остров Калипсо	25
Глава 7. Феаки находят Одиссея	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Бом Томбадилл

ОДИССЕЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО АЛИБИ

Глава 1. Итака в трауре

Двадцать лет прошло с тех пор, как Одиссей увёл двенадцать кораблей воевать под Трою — защищать честь чужой жены, которая вообще-то сбежала от другого царя, а Одиссея это дело касалось постольку-поскольку. Десять лет на самую войну. Ещё десять — на обратную дорогу, хотя от Трои до Итаки при попутном ветре плыть от силы пару недель, если, конечно, не заворачивать по пути в гости к людоедам, ведьмам и одноглазым пастухам. Но до этого мы ещё дойдём. Сейчас — Итака, где никто, включая саму Пенелопу, толком не знает: жив царь острова или давно кормит рыб где-нибудь у берегов Малой Азии.

Дворец у моря стоит роскошный — насколько вообще может быть роскошным дом, в котором который год хозяйничает не хозяйка, а её незваные гости. Сто восемь молодых мужиков — слуги их пересчитывали с той же дотошностью, с какой считают недоеденные бараньи туши, — обосновались во дворце так прочно, что иные уже подзабыли, как выглядит собственный дом.

Формально они здесь свататься. Царь пропал без вести, царица — вдова, трон вакантен, логично, что претенденты слетелись пытаться счастья. Фактически же дворец Одиссея — единственное на острове место, где можно круглые сутки жрать и пить бесплатно и никому за это ничего не будет. Свататься — красивое слово. На деле это затянувшаяся на три года попойка, только вместо студентов — взрослые мужики с видами на трон, а вместо съёмной хаты — целый царский дворец.

Каждый день во дворе режут пару быков и с полдюжины коз. Каждый день из погребов выкатывают вино — то самое, которое Одиссей когда-то откладывал на особые случаи, даже не подозревая, что особым случаем станет двадцатилетний загул чужих людей в его собственном доме. Служанки помоложе давно не удивляются рукам, которые тянутся к ним из-за столов, а те, что постарше, стараются пореже мелькать на глазах — пьяные женихи не особо разбирают, кому отпускать комплименты, а кому нет.

Пенелопа всё это видит каждый день из окна своих покоев, куда уходит под предлогом мигрени, хотя причина проще: смотреть, как чужие люди методично проедают наследство её сына, и не иметь права хоть что-то с этим сделать, — невыносимо. Женщина без мужа на Итаке юридически беззащитна, что бы там ни говорили о её уме.

А ум у неё, надо сказать, отменный.

Хитрость с саваном — лучшее, что придумала Пенелопа за десять лет. Пожалуй, лучшее, что вообще придумал на этом острове хоть кто-нибудь за последнее десятилетие, включая местных старейшин и жрецов, любящих порассуждать о судьбах Итаки за кружкой вина, не приходя при этом ни к чему конкретному.

Идея была проста до гениальности. Пенелопа объявила женихам: так и быть, она выберет себе мужа — но сперва довяжет погребальный саван для свёкра, старика Лаэрта. Формально он ещё жив, но уже совсем плох, и готовиться к худшему разумно заранее. Отказать в такой просьбе — значит прослыть на весь остров хамами, торопящими вдову замуж раньше похорон свёкра. Женихи, скрипя зубами, согласились ждать.

Дальше — чистая магия. Днём Пенелопа садилась за станок и на глазах у всех прилежно ткала. Ночью, когда во дворце гасли последние факелы, а женихи расходились переваривать очередного чужого быка, она вместе с парой доверенных служанок при свете одной лампы аккуратно распускала всё, что соткала за день. Утром бралась за работу заново, будто накануне ничего и не было.

Три года эта схема работала без единого сбоя — и здесь стоит отдать должное не только хитрости Пенелопы, но и обычной невнимательности женихов, которым и в голову не приходило спросить, почему кусок ткани за тридцать шесть месяцев так и не подрос ни на локоть.

Прокол вышел, как водится, из-за длинного языка. Одна из служанок — то ли из зависти к особому положению доверенных нянек, то ли просто заранее выслуживаясь перед будущим победителем, среди которых у неё явно был свой фаворит, — слила секрет самому наглому из женихов, Антиною.

Тот ворвался ночью в покои Пенелопы с парой свидетелей и застал её прямо за делом — она распускала при лампе то, что соткала днём.

— Вот, значит, в чём фокус, — протянул Антиной с той особой интонацией, с какой человек, три года евший чужой хлеб, вдруг чувствует себя умнее хозяйки дома. — Три года ты нас всех дурила, царица.

Пенелопа даже не покраснела.

— А вы три года ели быков моего мужа, — ответила она, не отрываясь от станка. — Так что, по-моему, мы квиты.

Саван, впрочем, пришлось-таки доткать — обещание есть обещание, даже вырванное обманом. Но с этого момента у Пенелопы не осталось ни одной законной отсрочки. Женихи, почуяв слабинку, насели ещё жёстче: почти каждый день кто-нибудь заводил разговор, что пора определяться, и намекал, что не прочь занять итакийский трон хоть сейчас, не дожидаясь официальной свадьбы, — а трон, знаете ли, без хозяина долго простаивать вреден для государства.

Пока мать держит этот бесконечный, изматывающий фронт, Телемах растёт.

Растёт он, надо сказать, в самых неудачных декорациях, какие только можно придумать для парня, ищущего себя. Представьте: вам двадцать, отца вы никогда не видели — уплыл, когда вам не было и года, — вы единственный мужчина в доме, если не считать деда Лаэрта, который давно сбежал хозяйствовать за город, лишь бы не смотреть на этот балаган. А теперь представьте, что каждый день вашего взросления во дворце толкуются сто с лишним чужих мужиков, вслух прикидывающих, кто из них женится на вашей матери и унаследует ваш трон, — будто вас, законного наследника, вообще не существует.

Телемах пытался бунтовать. Один раз даже созвал народное собрание — вполне законный шаг — и произнёс речь: женихи ведут себя недопустимо, объедают дом, оскорбляют хозяйку, творят беззаконие в чужом доме. Речь вышла искренняя, местами даже трогательная — молодой человек, у которого дрожит голос, когда он защищает честь матери, вызывает сочувствие у любого нормального человека.

Беда в том, что в зале сидели не нормальные люди, а женихи и их приятели, для которых собрание было развлечением средней паршивости — вроде бесплатного спектакля с заранее известным комическим финалом.

— Мальчик, — поднялся тогда Антиной с видом человека, оказывающего снисхождение, — не терпится тебе — вели матери выбрать мужа, и мы все разойдёмся по домам. Мы, между прочим, торчим тут не по своей блажи, а потому что твоя мать который год водит нас за нос — то саван, то ещё что-нибудь. Так что не нам предъявляй.

Зал одобрительно загудел. Телемах сел на место с ощущением, что только что проспорил дебаты собственному дому.

Именно после этого позора — а не до — в его жизни появляется странник, назвавшийся старым другом семьи по имени Ментес. На самом деле это, конечно, Афина, но Телемах поймёт это гораздо позже, задним числом сложив пазл из слишком уж вовремя случившихся совпадений и слишком уж толковых советов. Незнакомец говорит простую и оттого особенно обидную вещь:

— Хватит сидеть и ждать чуда. Съезди сам, разузнай про отца. Хотя бы попробуй.

Телемаху идея нравится сразу по двум причинам. Во-первых, впервые за много лет появляется шанс сделать хоть что-то, а не беспомощно смотреть, как захватывают родной дом. Во-вторых — в этом он себе едва признаётся — это способ ненадолго уехать подальше от сотни мужиков, которые обращаются с ним как с мебелью.

Матери о плане он не сообщает.

Тут стоит заметить: привычка сперва делать, а объяснять потом — если вообще объяснять, — у Телемаха явно семейная. Одиссей, как мы ещё не раз убедимся, поступает точно так же на протяжении всех своих странствий, причём в ситуациях, где промолчать было бы куда безопаснее очередного геройского порыва. Яблоко от яблони, что тут скажешь.

Пенелопа узнаёт об отъезде сына так же, как хозяйки больших домов узнают обо всём важном, — от прислуги, причём не сразу, а через пару дней, когда скрывать пропажу молодого хозяина уже невозможно.

Первая реакция — паника, самая обычная материнская: парень, который в жизни не покидал острова, ушёл в открытое море один, никого не предупредив, без охраны и опыта, зато с корабликом, тайком снаряжённым от собственной матери.

— Как вы допустили, чтобы он уехал?! — набрасывается она на старую няню Эвриклею, единственную в доме, кто знал о плане заранее и молчал по просьбе Телемаха.

— Госпожа, — отвечает та со спокойствием женщины, вынянчившей не одно поколение этой семьи и повидавшей всякое, — он взял с меня слово молчать, пока не станет поздно его останавливать. Что мне было делать — нарушить слово или сдержать его?

Пенелопа опускается на скамью и долго молчит. В этом молчании — вся её беда: сына не удержать, не защитить, даже толком не за что винить — виноват не он, виноват отец, который двадцать лет назад уплыл воевать за чужую честь и с тех пор не удосужился прислать хоть весточку.

Женихи узнают об отъезде Телемаха и реагируют совсем иначе, чем убитая горем мать, — деловито. Мальчишка уплыл — значит, наследник остался беззащитен вне дворцовых стен, а это отличный повод разом закрыть вопрос о будущем конкуренте на трон. План созревает быстро, с той же наглостью, с какой три года подряд ели чужой скот: подкараулить корабль Телемаха на обратном пути, в узком проливе между Итакой и соседним островом, и устроить засаду.

Один из немногих во всей этой компании порядочных людей — Амфином — робко возражает: убивать наследника престола — дело рискованное перед богами и перед людской молвой. Его сомнения тонут в общем гуле — остальные уже делят между собой, кому какая роль достанется в засаде.

Весть о заговоре доходит до Пенелопы через глашатая Медонта, который, в отличие от большинства обитателей дворца, совесть всё же сохранил и предупреждает царицу тайком.

Для Пенелопы это уже слишком. Двадцать лет ожидания мужа она как-то выдержала — тяжело, но выдержала. Три года осады женихов тоже выдержала — на одной хитрости с саваном. Но угроза жизни единственного сына — это уже за гранью того, что можно молча стерпеть с достоинством.

— Пусть боги вас всех покарают, — говорит она вслух, ни к кому не обращаясь, глядя в окно на море, куда уплыл сын и где двадцать лет назад скрылся из виду корабль мужа. — Если в этом мире осталась хоть капля справедливости, пусть она наконец вспомнит про этот дом.

И, как ни странно, справедливость и правда начинает шевелиться — пожалуй, единственная по-настоящему хорошая новость этой главы. Пока Пенелопа произносит эти слова в пустоту дворцовых покоев, на Олимпе Афина как раз убеждает Зевса: пора вмешаться в дела этого многострадального острова, причём сразу с двух сторон — подстраховать неопытного парня в опасном плавании и наконец сдвинуть с мёртвой точки судьбу его отца, который вот уже семь лет торчит пленником у одной чрезмерно гостеприимной нимфы. Но это — уже следующая глава.

А пока на Итаке сгущаются сумерки. Слуги в очередной раз режут для женихов быка, служанки разносят вино, а те рассаживаются за стол и жрут, даже не спросив, чьё это мясо, — а Пенелопа сидит у окна и ждёт. Она давно перестала верить, что ожидание к чему-то приведёт, — но привычка сильнее веры, и она продолжает ждать так же упрямо, как двадцать лет назад, так же упрямо, как три года подряд по ночам распускала собственное дневное тканье.

Дом мужа тем временем медленно, но верно превращается в декорацию для чужого пира. Единственное, что удерживает эту декорацию от полного разорения, — упрямство одной женщины, слишком умной, чтобы сдаться, и слишком гордой, чтобы плакать на людях.

А где-то в море, на маленьком корабле, юноша по имени Телемах впервые в жизни держит курс не по чужой указке, а по собственному решению — и пока не знает, что уже сам, того не подозревая, идёт следом за невидимой провожатой напрямик в развязку семейной истории, которая скоро наконец начнёт двигаться с мёртвой точки.

Но это, как водится, уже другая глава.

Глава 2. Телемах отправляется в путь

Собрать корабль тайком от собственной матери — задача, прямо скажем, нетривиальная, особенно если мать держит в голове бухгалтерию всего дворцового хозяйства до последней амфоры оливкового масла. Но у Телемаха, к счастью, нашёлся помощник, готовый закрыть глаза на любые организационные сложности, — тот самый странник по имени Ментес, он же, как мы помним, Афина под личиной.

Правда, к моменту сборов Ментес уже сменил обличье. Явился он теперь под видом Ментора — старого приятеля Одиссея, которому царь, отчаливая под Трою, будто бы поручил присматривать за домом и сыном. Была ли эта история правдой хоть отчасти, или Афина просто выбрала первое подходящее по легенде лицо, чтобы не вызывать лишних вопросов, — вопрос, на который никто во дворце так и не удосужился получить ответ. Зато под видом старого доверенного лица можно было делать вещи, которые от случайного странника выглядели бы подозрительно: например, распоряжаться слугами, договариваться о корабле и подбирать команду гребцов, никого особо не спрашивая, на каком основании.

— Двадцать человек, — сказала Афина, оглядев собравшихся на пристани добровольцев, среди которых были и старые товарищи отца, и просто молодые парни, которым до смерти надоело смотреть, как женихи хозяйничают в чужом дворце. — Больше не нужно, меньше — рискованно.

Телемах кивнул с таким видом, будто сам всё это давно продумал, хотя на самом деле весь план — от корабля до команды — от начала до конца организовала Афина, а он лишь старался не путаться под ногами и выглядеть решительно.

Провизию грузили ночью — не потому что боялись богов или дурного глаза, а потому что днём во дворе постоянно крутились люди Антиноя, и заметить, как со склада тайком вывозят вино и муку, для них было бы плёвым делом. Эвриклея, старая нянька, отвечавшая за кладовые, отсыпала припасов без единого лишнего вопроса — она давно решила для себя, на чьей стороне в этом доме правда, и вопрос лояльности для неё уже не стоял.

— Только матери ни слова, — попросил Телемах в последний раз, укладывая на телегу последний бурдюк с вином.

— Я и так молчу третий день, — вздохнула Эвриклея. — Но учти: когда она узнает, а она узнает обязательно, отвечать перед ней будешь сам. Меня в это не впутывай.

Телемах пообещал. Врать сам он, впрочем, тоже не собирался — просто рассчитывал, что к моменту разговора у него уже будет что предъявить в своё оправдание, кроме голого упрямства.

Отплывали затемно, когда во дворце давно погасли последние огни, а женихи, наевшись до отвала, дрыхли по своим покоям, не подозревая, что сын хозяйки в эту самую минуту тихо спускается к берегу с горсткой преданных людей.

Корабль назывался просто и без затей — чёрный корабль, как называли тогда любое судно с просмолённым бортом, и в этом названии было что-то от предчувствия: плавание предстояло не праздничное, а вынужденное, продиктованное отчаянием больше, чем расчётом.

Телемах взошёл на борт последним. Постоял немного на носу, глядя на тёмные очертания дворца на холме — там, в одном из окон, спала (или не спала, а просто лежала без сна, как это часто с ней случалось) его мать, которая узнает об этом путешествии в лучшем случае завтра к обеду, и то не от него.

— Не передумал? — спросила Афина, вставая рядом в облике старого Ментора.

— Куда уж теперь, — ответил Телемах и махнул рукой гребцам.

Вёсла опустились в воду разом, слаженно, будто эти двадцать человек всю жизнь только и делали, что гребли вместе, — верный знак, что кто-то невидимый в этот момент подгонял течение и ветер именно в нужную сторону.

Первую ночь в море Телемах не спал вовсе. Он сидел на корме, кутаясь в плащ, и смотрел, как исчезают вдаль огни родного острова, и думал о том, насколько нелепо, в сущности, выглядит его собственная авантюра. Двадцать лет никто из взрослых мужчин острова не удосужился всерьёз разобраться, что случилось с царём Одиссеем, — а он, двадцатилетний парень, никогда прежде не выходивший дальше рыбацкой лодки в бухте, вдруг решил, что справится там, где не справились опытные советники и жрецы. Мысль эта то придавала ему решимости — раз уж взрослые бездействуют, значит, дело за ним, — то, наоборот, повергала в отчаяние — а вдруг он просто плывёт наугад, тратя чужие жизни и корабль на бессмысленную затею.

— Ты слишком много думаешь, — заметила Афина, присаживаясь рядом всё в том же облике старика Ментора. — Твой отец в твоём возрасте тоже много думал, но при этом ещё и действовал. Одно другому не мешает, если не давать мыслям тебя парализовать.

— А если я никого не найду? — спросил Телемах. — Если проеду половину греческого мира, а в итоге узнаю только, что он давно погиб, и мать зря надеялась двадцать лет?

— Тогда, по крайней мере, ты будешь знать правду, — ответила Афина. — А правда, даже горькая, всё-таки лучше, чем то, что творится сейчас у вас во дворце: сто человек делают вид, что твоего отца не существует, лишь бы им было удобнее.

Телемах промолчал, но что-то в этих словах ему запомнилось надолго — куда крепче, чем любые формальные наставления советников, которых он слушал всю жизнь и которые никогда толком ничего не советовали, кроме как «потерпи» и «время покажет».

К утру ветер стих, и грести пришлось уже своими силами, без божественной подмоги, — видимо, Афина сочла, что для первого дня плавания парню и его команде полезно почувствовать себя обычными смертными, которым приходится трудиться, а не просто плыть по волшебному попутному течению.

Гребцы, кстати, оказались людьми на удивление приятными — не придворная челядь и не наёмники, а в основном молодые мужчины из тех семей на Итаке, что давно недолюбливали компанию женихов и были рады случаю хоть чем-то насолить Антиною и его приятелям, пусть даже просто тем, что помогут сыну законного царя.

— Мой отец три года кормил своим зерном одного из этих женихов, — рассказывал за вёслами один из гребцов, кряжистый парень по имени Пирей, с которым Телемах успел подружиться ещё до отплытия. — Тот приходил к нам якобы за долгом, которого никогда не было, а на самом деле просто кланчил еду, потому что во дворце ему, видите ли, надоела баранина, захотелось козлятины для разнообразия. Так что я тут не только ради тебя, чтобы ты знал. У меня свой счёт.

Телемах слушал такие истории одну за другой и постепенно понимал то, чего не замечал, сидя взаперти в собственном дворце: женихи успели надоесть не только его семье, а всему острову целиком, просто у большинства жителей Итаки не было ни повода, ни возможности что-то с этим сделать. Его собственная беда, оказывается, давно стала общей — просто никто раньше не додумался спросить у людей напрямую.

Путь до Пилоса, царства старого Нестора, занял чуть больше суток — с попутным ветром, который Афина, судя по всему, всё-таки не поленилась наколдовать заново, стоило команде как следует размяться вёслами и проникнуться духом коллективного недовольства женихами.

Ещё на подходе к берегу они увидели непривычную картину: весь пляж у пилосской гавани был заставлен рядами людей, приносящих в жертву быков — не одного и не двух, а, кажется, сразу несколько десятков, чёрных, один к одному, с позолоченными рогами, поблёскивающими на солнце.

— Что это у них, праздник? — спросил Телемах, разглядывая многолюдное действо с некоторой опаской: являться незванным гостем на чужой религиозный праздник казалось делом деликатным.

— Праздник в честь Посейдона, — пояснила Афина. — Раз в году здесь режут быков сотнями — по девять на каждое из девяти сословий города. Тебе повезло: застал момент, когда весь Пилос в сборе и в хорошем настроении. Лучшего времени для визита не придумаешь.

«Повезло» — слово, пожалуй, слишком мягкое: Телемах, никогда прежде не покидавший родного острова, теперь должен был явиться на глаза величайшему живому герою Троянской войны прямо посреди массового ритуального убийства скота, да ещё и с просьбой поговорить о судьбе отца, которого тот, возможно, помнил в последний раз плывущим домой из-под сожжённого города.

Команда причалила, вытянула корабль на песок, и Телемах вместе с Ментором-Афиной направился напрямик к прибрежным кострам — благо, обычаи здесь были простые: незваного гостя, случайно оказавшегося на празднике, не прогоняли, а сажали за стол, наливали вина и уже потом спрашивали, кто он и откуда.

Первым, кого они встретили, оказался младший сын Нестора, Писистрат, — юноша примерно того же возраста, что и сам Телемах, приветливый и, судя по всему, привыкший к тому, что во дворце отца постоянно кто-то гостит.

— Вы как раз к жертвоприношению, — сказал он, протягивая гостям чаши с вином. — Отец будет рад новым лицам, он вообще любит рассказывать истории, а свежие уши для этого дела самое то.

Телемах невольно улыбнулся — что-то в этой фразе прозвучало настолько по-человечески просто и без всякой политики, что после недель напряжения во дворце, где каждое слово было либо угрозой, либо издёвкой, он впервые за долгое время почувствовал что-то похожее на облегчение.

— Как мне представиться твоему отцу? — спросил он тихо у Афины, пока Писистрат отвлёкся, чтобы усадить их поудобнее у самого почётного края застолья.

— Своим именем, — ответила та без колебаний. — Скрывать тебе нечего, а сын Одиссея на этом побережье — гость, которого встретят с уважением, а не с подозрением. Люди здесь ещё помнят твоего отца живым, а не как имя из старых песен.

Прежде чем сесть за стол, Телемах, как учил его этикет — а этому этикету его, к слову, наспех и на ходу обучала всё та же Афина, поскольку никакого опыта дипломатических визитов у молодого человека попросту не имелось, — должен был совершить положенное приношение самому Посейдону.

— Проси у него удачи в пути, — шепнула Афина, вкладывая ему в руки чашу для возлияния. — И постарайся звучать искренне. Боги, знаешь ли, чувствуют, когда молитва произносится для галочки.

Телемах, стоя у самой кромки воды, произнёс слова молитвы — не заученные, а свои собственные, коряво составленные на ходу, — и попросил бога моря о том единственном, что

действительно волновало его в этот момент: чтобы поездка не оказалась напрасной, чтобы вернуться домой не с пустыми руками, а хоть с каким-то следом отца, живого или мёртвого, — лишь бы наконец знать правду, а не жить дальше в этом бесконечном подвешенном состоянии, в котором вырос весь его дом.

Закончив, он оглянулся на своего спутника — и на мгновение ему показалось, что глаза старика Ментора блеснули как-то по-особенному ярко, почти нечеловечески, хотя, конечно, спишем это на солнечные блики на воде и общую взволнованность момента.

— Хорошая молитва, — сказала Афина. — Идём, старик заждался новых слушателей.

И они направились к длинным столам, где во главе почётного места, окружённый сыновьями и невестками, восседал сам Нестор — старик, повидавший, кажется, не одну войну, не одно поколение царей и уже, судя по всему, готовый в очередной раз пересказать всё, что видел, любому, кто согласится слушать достаточно долго.

Но это, впрочем, уже отдельная история — и отдельная глава.

Глава 3. У Нестора в Пилосе

Нестор оказался именно таким, каким его и представляли по рассказам, — крепким для своих лет стариком с пышной седой бородой, зычным голосом и совершенно неистребимой любовью к собственным воспоминаниям. Прожил он, по слухам, три человеческих века — то есть пережил два поколения ровесников, — и за эти годы, судя по всему, накопил столько историй, что рассказывать их мог часами, почти не переводя дыхания и почти не нуждаясь в вопросах слушателей.

Когда Телемах и его спутник подошли к почётному столу, старик как раз заканчивал очередной тост — что-то про доблесть, богов и правильное отношение к жертвенным быкам, — и, заметив новых гостей, тут же расплылся в широкой хозяйской улыбке.

— Садитесь, садитесь, — замахал он рукой, будто места за столом вот-вот кончатся, хотя стол растянулся на добрую сотню шагов вдоль берега. — Гости грех оставлять голодными, особенно в такой день, как сегодня.

Писистрат, младший из сыновей Нестора, усадил Телемаха и мнимого Ментора рядом с собой и первым делом протянул им лучшие куски мяса и полные чаши вина — прежде чем задать хоть один вопрос о том, кто перед ним и откуда. На Итаке, где давно забыли о таком понятии, как гостеприимство без задней мысли, эта простая забота показалась Телемаху почти чудом.

Только когда голод был утолён, а чаши опустошены хотя бы наполовину, Нестор наконец повернулся к гостям с закономерным вопросом.

— Откуда вы, чужестранцы, и куда держите путь? По делу плывёте или просто так, скитаетесь по морю, как разбойники, которые нынче промышляют не пойми чем от одного берега до другого?

Вопрос звучал прямо, почти грубовато, но, судя по всему, был здесь в порядке вещей — задавать гостю такие вещи прямо в лицо, без обиняков, а уже потом решать, обижаться на ответ или нет.

Телемах ответил, стараясь звучать увереннее, чем чувствовал себя на самом деле:

— Я с Итаки. Ищу вестей об отце — Одиссее, который сражался под Троей вместе с тобой. Уже двадцать лет о нём ни слуху ни духу, а дома тем временем... — он замаялся, подбирая слова, — тем временем непростые дела.

Услышав имя Одиссея, Нестор оживился так, будто перед ним внезапно зажгли факел в тёмной комнате.

— Одиссей! — воскликнул он с неподдельным удовольствием, свойственным старикам, которым наконец-то дали повод вспомнить молодость во всех подробностях. — Вот уж кто был хитрецом среди хитрецов, скажу я тебе. Ни один из нас, ахейцев, не мог сравниться с ним умом — ни в совете старейшин, ни на поле боя. Как же он был похож на тебя, мальчик мой, — та же осанка, тот же голос, вот только глаза у тебя, пожалуй, материнские.

Телемах, услышавший впервые в жизни, что хоть чем-то напоминает отца, которого совсем не помнил, невольно подался вперёд — сравнение, брошенное вскользь, задело его сильнее, чем сам Нестор, вероятно, ожидал.

И тут началось то, ради чего, собственно, Телемах и приплыл, — рассказ. Правда, рассказ этот, к некоторому разочарованию гостя, вышел куда длиннее, чем требовалось для простого ответа на простой вопрос.

Нестор начал издалека — с последних дней осады Трои, с того, как после десяти лет войны ахейское войско наконец-то разграбило город, а потом, вместо того чтобы дружно отправиться домой, разругалось между собой чуть ли не насмерть.

— Видишь ли, — рассуждал старик, подливая себе вина, — беда была в том, что боги на нас, победителей, разозлились не меньше, чем на побеждённых троянцев. Мы вели себя в захваченном городе не самым благочестивым образом, чего уж скрывать, а Афина — да не обидится она на меня за эти слова — сочла себя оскорблённой. И вот когда пришло время отплывать, среди нас, ахейских вождей, случился раскол.

Дальше пошёл длинный, во всех деталях, пересказ ссоры между братьями Агамемноном и Менелаем: один хотел отплыть немедленно, чтобы поскорее умиловить богов жертвой, другой настаивал на промедлении. Флот раскололся на две части. Одна половина, включая самого Нестора, отплыла сразу и добралась до дома относительно благополучно. Другая, вместе с Менелаем, задержалась — и в итоге хлебнула куда больше бед по дороге.

— А Одиссей? — не выдержал Телемах, которому вся эта военная политика двадцатилетней давности была, признаться, куда менее интересна, чем судьба собственного отца. — С какой из половин отплыл он?

— В том-то и странность, — Нестор задумчиво покачал головой. — Одиссей сперва отплыл вместе с нами, с той половиной флота, что торопилась домой. Но потом, уже в пути, он вдруг передумал — приказал своим кораблям развернуться и отправился обратно, к Агамемнону, будто рассудил, что стоит держаться поближе к главному военачальнику. С тех пор я его больше не видел и ничего толком о его дальнейшей судьбе не знаю. Кто говорит, что он благополучно добрался до дома. Кто — что сгинул где-то по пути, как многие другие.

Ответ, честно говоря, разочаровывал: Телемах проделал долгий путь морем не ради очередной военной хроники двадцатилетней давности, а ради конкретной, живой новости хоть о каком-то следе отца. Но старика, судя по всему, было не остановить на полуслове — истории у него плавно перетекали одна в другую, будто плотины между ними просто не существовало.

Дальше Нестор, не особо заботясь о том, слушают ли его ещё внимательно, принялся пересказывать судьбу остальных ахейских вождей — с таким видом, будто читал длинный список павших и уцелевших, каждого сопровождая отдельным комментарием.

Аякс Малый, оскорбивший богов дерзким хвастовством, утонул во время бури — Посейдон, по легенде, лично раскроил ему скалу пополам, чтобы наказать за гордыню. Агамемнон, доплыв до дома с грузом трофеев и наложниц, был убит собственной женой Клитемнестрой и её любовником прямо на пиру, устроенном в его же честь, — участь, которую Нестор пересказывал с особым драматизмом, явно не в первый раз оттачивая эту историю на благодарных слушателях.

— Вот урок для всех нас, — заключил старик, подняв палец назидательно вверх. — Даже величайший из царей не застрахован от предательства в собственном доме. Хорошо ещё, что сын его, Орест, отомстил за отца — убил и мать, и её сообщника. Кровавая история, но справедливая, по-своему.

Телемах слушал это с некоторым внутренним холодком — параллель напрашивалась слишком уж прямо: отец пропал без вести, дом захвачен чужаками, мать одна против целой своры женихов. Правда, в отличие от Клитемнестры, Пенелопа хранила верность мужу изо всех сил, что бы там ни говорили о женском непостоянстве престарелые советники вроде самого Нестора, но сходство обстоятельств от этого меньше не становилось.

— А что Менелай? — спросил Телемах, вспомнив, что именно его имя упоминалось как источник самых свежих сведений. — Ты сказал, он задержался в пути. Он-то хоть добрался до дома?

— Добрался, — кивнул Нестор, — но не сразу и не без приключений. Долго носило его бурями по чужим морям, занесло аж в Египет, и лишь через много лет он наконец вернулся в Спарту с самой Еленой, из-за которой всё это, собственно, и заварилось. Он должен знать больше меня — плавал куда дольше, повидал куда больше чужих земель. Съезди к нему, мальчик, если хочешь узнать более свежие вести об отце. Возьми колесницу — морем туда добираться неудобно, а посуху через материк оно и быстрее выйдет, и надёжнее.

К этому моменту солнце давно перевалило за полдень, а количество съеденного мяса и выпитого вина достигло той меры, после которой разговоры за столом начинают идти по кругу, повторяя уже сказанное с небольшими вариациями. Афина, до сих пор молчаливо сидевшая рядом с Телемахом в облике Ментора, наконец решила, что пора вмешаться и придать беседе более практическое направление.

— Благодарим за гостеприимство и за рассказ, почтенный Нестор, — произнесла она голосом старика, но с той особой властью, которую хозяин дома, кажется, не мог не заметить, хотя виду и не подал. — Позволь нам заночевать здесь, а завтра с утра отправить моего юного спутника дальше, в Спарту, если ты дашь ему колесницу и провожатого.

— Само собой, — согласился Нестор без малейшего колебания. — Только ночевать вы будете не на голой земле у костра, как какие-нибудь бродяги, а во дворце, как подобает встречать сына Одиссея. У меня достаточно постелей и покрывал для уважаемых людей.

Именно в этот момент Афина, сославшись на необходимость проверить корабль и оставшуюся на берегу команду, незаметно отделилась от компании — и, к изумлению всех присутствующих, буквально на глазах превратилась в орла и взмыла в небо, оставив Нестора с открытым от удивления ртом.

— Дитя моё, — произнёс старик, повернувшись к Телемаху совсем другим тоном, лишённым прежней болтливой лёгкости, — твоим спутником, кажется, была сама Афина. Не всякому смертному выпадает такая честь — путешествовать бок о бок с богиней, да ещё и без её ведома оставаться безмятежным. Твой отец, помнится, тоже был у неё в особом почёте среди всех нас, ахейцев, — видно, покровительство это перешло и к тебе по наследству.

Телемах, признаться, и сам подозревал нечто подобное с самого начала путешествия — слишком уж гладко всё складывалось, слишком уж вовремя появлялся попутный ветер, слишком уж своевременно подворачивались нужные люди и нужные слова. Но одно дело подозревать, а другое — увидеть собственными глазами, как твой спутник оборачивается птицей прямо посреди чужого пиршественного стола.

— Значит, — медленно проговорил он, — всё это время меня вёл не просто добрый друг семьи.

— Значит, — согласился Нестор, — тебе, мальчик, стоит быть повнимательнее к своим словам и поступкам. Боги редко утруждают себя личным присутствием ради людей, которых считают недостойными внимания.

Ночь Телемах провёл во дворце Нестора — в отдельных, отведённых специально для гостей покоях, впервые за долгое время не думая о том, что где-то рядом, за стеной, могут подслушивать люди Антиноя. Здесь, в чужом доме, среди чужих людей, оказалось, как ни странно, спокойнее и безопаснее, чем в собственных родовых стенах.

Утром, как и было обещано, ему подали лёгкую колесницу, запряжённую парой резвых коней, и в провожатые дали Писистрата — тот сам вызвался сопровождать нового приятеля в Спарту, отчасти из искреннего расположения, отчасти, вероятно, из желания хоть немного

развешаться от вечных отцовских рассказов о былых временах, которые, сколько бы раз их ни слушал, наизусть не выучишь — старик каждый раз ухитрялся добавить новую подробность.

— Отец мой, конечно, человек замечательный, — признался Писистрат уже в пути, когда колесница катила по пыльной дороге прочь от Пилоса, — но, честно тебе скажу, слушать одну и ту же историю про Троя в сотый раз бывает утомительно. Ты уж прости, если он тебя за столом заговорил до полусмерти.

Телемах невольно рассмеялся — впервые за всё путешествие смех вышел лёгким и настоящим, без малейшей примеси горечи.

— Ничего, — ответил он. — По крайней мере, теперь я хоть немного знаю, каким отец был живым человеком, а не просто именем, которое все вспоминают со вздохом. Уже неплохо для начала.

Колесница катила дальше на юг, к Спарте, где, если верить Нестору, их ждали куда более свежие новости — и куда более неожиданные, чем можно было предположить накануне вечером за чашей вина и бесконечными старческими воспоминаниями.

Но и это, разумеется, уже совсем другая глава.

Глава 4. У Менелая и Елены

До Спарты добирались два дня — сперва через горные перевалы, где колесница то и дело подпрыгивала на камнях так, что Телемах пару раз всерьёз опасался за сохранность собственных зубов, потом через равнины, где кони наконец пошли ровным галопом, а Писистрат, за неимением других развлечений в дороге, принялся расспрашивать спутника о жизни на Итаке — и, судя по его лицу, услышанное его не особо радовало.

— Сто с лишним человек живут в чужом доме за чужой счёт три года подряд, — качал он головой, — и никто из соседних царей до сих пор не вмешался? У нас в Пилосе такого безобразия отец бы ни дня не потерпел.

— У вас в Пилосе есть отец, — сухо заметил Телемах. — А у меня — только мать, которая юридически даже трон защитить толком не может, не то что выгнать сотню наглецов силой.

Писистрат помолчал, явно устыдившись собственной бестактности, и до конца пути больше об этом не заговаривал.

Дворец Менелая в Спарте оказался куда роскошнее пилосского — стены сверкали золотом и слоновой костью, будто хозяин задался целью лично напомнить каждому гостю, что в его доме побывали трофеи не одной войны, а сразу нескольких удачных походов. Когда колесница подъехала к воротам, во дворе как раз шёл пир — да не простой, а свадебный, причём сразу двойной: дочь Менелая, Гермionу, отправляли замуж за сына Ахилла, а сына хозяина, Мегапенфа, женили на местной девушке.

— Кажется, мы не вовремя, — пробормотал Телемах, разглядывая толпу гостей, музыкантов и танцоров, заполнивших весь двор. — Может, стоило подождать до завтра?

— Гостеприимство важнее расписания, — отозвался возница, которого Менелай тут же выслал навстречу новоприбывшим, едва заведя чужую колесницу у ворот. — Хозяин не простит себе, если узнает, что странников оставили мёрзнуть за оградой во время такого праздника. Заходите, заходите, места на всех хватит.

Менелая Телемах узнал сразу, хотя видел его впервые в жизни, — высокий, статный, с той особой военной выправкой, которая не стирается даже спустя двадцать лет мирной жизни, и с рыжеватой бородой, тронутой сединой. Царь Спарты принял гостей с той же щедростью, что и Нестор, — усадил за стол, велел подать лучшее мясо и вино, — но, в отличие от старика, поначалу не докучал расспросами, дав гостям сперва утолить голод с дороги.

Только за десертом, когда прислуга уже разносила фрукты и сладости, Менелай наконец повернулся к молодым гостям с обычным для здешних мест вопросом:

— Откуда вы, чужестранцы, и что привело вас в Спарту?

И вот здесь произошло нечто, чего Телемах никак не ожидал. Не успел он и рта раскрыть, как в зал вошла женщина такой красоты, что застольный гул на мгновение стих сам собой, без всякого приказа хозяина, — просто потому, что всякий разговор в присутствии этой женщины казался неуместным.

— Елена, — тихо шепнул Писистрат, толкнув Телемаха локтем.

Та самая Елена, из-за которой десять лет назад загорелась Троя, десять лет гибли лучшие воины греческого мира и Итака лишилась своего царя, — теперь спокойно восседала рядом с мужем, будто вся эта история была не более чем давним, немного неловким недоразумением, о котором приличнее не вспоминать за общим столом.

Она внимательно оглядела Телемаха — и, судя по всему, оглядела крайне зорко, потому что уже через мгновение произнесла с полной уверенностью:

— Менелай, взгляни на этого юношу. Клянусь, я никогда прежде не видела человека, настолько похожего на кого-то другого. Это же вылитый сын Одиссея — та же осанка, тот же взгляд, каким он смотрел, когда мы виделись под Троей.

Менелай пригляделся к гостю внимательнее и медленно кивнул, соглашаясь с женой.

— И правда, руки у него отцовские, и глаза те же. — Он повернулся к Телемаху напрямую. — Так ты, стало быть, сын Одиссея? Не таись, юноша, назови своё имя.

Телемах, слегка ошарашенный тем, что его узнали раньше, чем он успел представиться, всё же нашёл в себе силы ответить прямо:

— Да, я Телемах, сын Одиссея. Приплыл в надежде узнать о нём хоть что-нибудь — жив он или нет, а если жив, то где искать.

При этих словах лицо Менелая на мгновение потемнело — не от досады на гостя, а, судя по всему, от воспоминаний, которые вопрос невольно всколыхнул.

— Твой отец, — начал он после долгой паузы, — был одним из немногих людей, ради которых я готов был бы отдать половину своих сокровищ, лишь бы он снова оказался рядом со мной живым и невредимым. Ни один воин под Троей не сравнится бы с ним хитростью и выдержкой. Если бы не Одиссей, город так и стоял бы неприступным до сих пор.

Он неспешно рассказал о деревянном коне — истории, которую, впрочем, здесь уже все знали наизусть, но которую Менелай, судя по интонации, не мог не пересказать хотя бы вскользь всякий раз, стоило зайти разговору об Одиссее. Про то, как несколько десятков ахейских воинов, включая его самого, просидели долгую ночь внутри деревянного коня, затаив дыхание, пока троянцы сами затащили ловушку в город. Про то, как в решающий момент, когда нервы у некоторых сдали настолько, что кто-то из воинов готов был откликнуться на голос, доносившийся снаружи и звавший их по именам поразительно похожим голосом жены каждого из них, именно Одиссей вовремя зажал рты особо впечатлительным и удержал весь отряд от гибельной ошибки.

— А голос этот, — вставила вдруг Елена, и в её тоне мелькнуло что-то похожее на смущение, — был, к слову, мой. Меня заставили обойти коня и позвать вас по именам голосами ваших жён — троянцы рассчитывали, что кто-то не выдержит и откликнется.

За столом на мгновение повисла неловкая тишина — не самая приятная деталь для новобрачных на собственной свадьбе узнавать, что мать невесты в своё время пыталась заманить в ловушку весь цвет ахейского войска, пусть и по принуждению троянцев. Менелай, впрочем, тактично перевёл разговор дальше, явно давно привыкший сглаживать подобные неловкости в собственном доме.

Про судьбу самого Одиссея после падения Трои Менелай, однако, знал куда меньше, чем хотелось бы Телемаху, — большую часть рассказа заняла история его собственных злоключений на обратном пути домой, которая, к слову, оказалась ничуть не короче и не менее полна опасностей.

— Меня носило бурями по чужим морям семь долгих лет, — рассказывал он, всё больше увлекаясь собственным повествованием, — занесло на Кипр, в Финикию, в Египет — да, в самый настоящий Египет, где я застрял надолго, потому что не приносил положенных жертв богам перед отплытием и они, судя по всему, решили меня как следует проучить за это упущение.

Дальше последовал длинный и подробный рассказ о том, как Менелай на пустынном острове близ египетского побережья изловил морского вещуна Протея — старика, умеющего

превращаться в кого угодно, от льва до змеи, от воды до огня, — и держал его крепкой хваткой до тех пор, пока тот, устав менять облики, не сдался и не выдал нужные пророчества.

— Именно от Протея я и узнал кое-что об Одиссее, — сказал Менелай, и Телемах невольно подался вперёд, наконец дождавшись главного. — Протей сказал, что видел твоего отца на острове нимфы Калипсо — где-то посреди моря, на клочке земли, у которого и названия толком нет на картах смертных. Одиссей жив, но пленник там — ни корабля у него, ни команды, чтобы выбраться самому. Нимфа держит его при себе против его воли, сколько уже лет — того Протей не сказал, а я не уточнил, признаться.

Для Телемаха эта новость оказалась одновременно и облегчением, и новым источником тревоги. Отец жив — уже немало после двадцати лет полной неизвестности. Но жив и заперт на неведомом острове без всякой возможности вернуться — а значит, и его собственное путешествие, затеянное с надеждой вот-вот найти отца и привезти его домой, вместо этого лишь подтвердило: без вмешательства кого-то куда более могущественного, чем простой смертный юноша с горсткой грёбцов, Одиссею оттуда не выбраться.

Разговор за столом постепенно становился всё тяжелее — воспоминания о войне и погибших товарищах, естественным образом всплывавшие в такой беседе, начали навевать на собравшихся тоску, совсем неуместную на свадебном пиру. Первой это заметила Елена и, недолго думая, решила проблему самым практичным способом, какой только можно было представить.

Она незаметно подмешала в кувшин с вином какое-то снадобье — судя по всему, привезённое ею ещё из Египта, страны, славившейся, по слухам, богатейшими познаниями в травах и зельях, — и лично разлила это вино гостям.

— Выпейте, — сказала она с загадочной полуулыбкой. — Тому, кто выпьет этого вина, целый день не грозит ни печаль, ни слёзы, даже если у него на глазах погибнут родные братья или сын.

Действие снадобья и правда оказалось поразительным — тяжесть, повисшая было за столом, вдруг растворилась сама собой, и разговор снова потёк легко, почти весело, будто минуту назад никто и не вспоминал о погибших под Троей товарищах.

Воспользовавшись переменой настроения, Елена и сама решила поделиться воспоминанием — на этот раз куда более лестным для Одиссея, чем откровение про фальшивые голоса у деревянного коня.

— А ведь я видела твоего отца ещё до падения города, — сказала она Телемаху с явным удовольствием. — Он пробрался в Трою тайком, переодевшись нищим бродягой, — избил себя же самого до синяков и рваных лохмотьев для убедительности, чтобы никто не признал в нём знатного ахейского вождя. Разведать обстановку изнутри города, понимаешь? И знаешь, что забавно — я узнала его почти сразу, несмотря на весь этот маскарад. Слишком уж характерная у него была походка, слишком уж пронизательный взгляд для простого нищего.

— И вы его выдали? — с тревогой спросил Телемах.

— Ни в коем случае, — покачала головой Елена. — Я тогда уже сама тосковала по родному дому куда сильнее, чем кто-либо мог предположить, и была рада хоть чем-то помочь ахейцам, лишь бы приблизить конец этой затянувшейся войны. Я выведала у него все нужные сведения о планах греков и, поклянусь, ни словом не обмолвилась ни одному троянцу о том, кто на самом деле стоит передо мной в этих обносах.

Менелай при этих словах жены как-то неопределённо хмыкнул — судя по выражению его лица, у него имелась собственная версия событий той эпохи, изрядно расходящаяся с трогательным рассказом супруги о её тайной верности ахейскому делу, но вслух возражать он не

стал. Видно, за годы, прожитые вместе после возвращения из-под Трои, научился помалкивать в подобных случаях — себе дороже.

На следующий день, прежде чем отпустить гостей в обратный путь, Менелай отвёл Телемаха в сторону для последнего, уже совсем частного разговора.

— Я бы с радостью оставил тебя у себя ещё на пару недель, — сказал он, — показал бы окрестные земли, свозил бы к соседним царям в гости. Но вижу по твоему лицу, что дома тебя ждут дела, которые не терпят отлагательства.

— Женихи моей матери, — коротко подтвердил Телемах. — Чем дольше я отсутствую, тем свободнее они себя чувствуют.

— Тогда возвращайся, — кивнул Менелай, — и передай матери от меня: пусть держится. Женщина, двадцать лет хранящая верность мужу против воли целой оравы наглецов, заслуживает уважения куда больше, чем иная царица, которой никто и никогда не бросал такого вызова.

Он немного помолчал, а затем добавил тише, уже без прежней пышности придворной речи:

— И вот ещё что. Твой отец жив — в этом можешь быть уверен, Протей не лгал. Просто удача пока не на его стороне. Но удача, знаешь ли, штука переменчивая — особенно для человека, которого сами боги, кажется, никак не могут решить, наказывать им дальше или всё-таки простить.

С этим напутствием Телемах и Писистрат отправились в обратный путь — колесница вновь застучала по каменистой дороге прочь от Спарты, а в голове у Телемаха теснились одновременно и облегчение от долгожданной новости, и тревога за отца, застрывшего неведомо где, и смутное, пока ещё не до конца оформившееся понимание того, что дома, на Итаке, тем временем зреет заговор куда более опасный, чем просто наглые притязания на трон.

Но что именно происходит сейчас во дворце, пока он гостит у спартанского царя, — об этом Телемах пока не подозревал. И узнать об этом ему предстояло уже совсем скоро.

Глава 5. Итака: женихи готовят засаду

Пока Телемах слушал бесконечные истории Нестора и гостил на свадебном пиру у Менелая, на Итаке дела шли своим чередом — то есть, проще говоря, шли к худшему.

Весть о том, что молодой хозяин тайком уплыл с острова, разошлась по дворцу довольно быстро — не потому что кто-то намеренно проболтался, а просто потому что скрывать отсутствие человека в доме, где живёт больше сотни постояльцев, дело безнадёжное. Один заметил пустующее место за столом, другой припомнил, что не видел юношу пару дней, третий сложил два и два — и уже к вечеру новость обсуждал весь дворец, от последнего конюха до самого Антиноя.

Реакция женихов оказалась предсказуемой — и предсказуемо мерзкой. Первые несколько минут в зале царило нечто среднее между весёлым изумлением и раздражением: надо же, мальчишка осмелился действовать самостоятельно, вместо того чтобы сидеть тихо и терпеть, как полагается наследнику, у которого нет ни власти, ни поддержки. Но веселье быстро сменилось расчётом — люди, три года подряд планомерно проедавшие чужое наследство, привыкли мыслить практически, а не сентиментально.

— Он поплыл искать вести об отце, — сказал Антиной, прохаживаясь перед притихшими сотрапезниками с видом человека, только что придумавшего блестящую идею. — И это, друзья мои, наша удача, а не его.

— Это ещё почему? — спросил кто-то из задних рядов.

— Потому что пока мальчишка болтается по морю, мы наконец можем решить вопрос с наследником раз и навсегда, — ответил Антиной с той спокойной наглостью, которая давно перестала кого-либо здесь удивлять. — Дайте мне быстрый корабль и два десятка добровольцев. Мы подкараулим его на обратном пути, в проливе между нашим островом и Замом — там как раз есть узкое место, мимо которого ему не проплыть незамеченным. Один удачный бросок копья — и больше никаких хлопот с прямым наследником трона.

Предложение встретили не единодушным ужасом, чего можно было бы ожидать от нормальных людей при разговоре об убийстве двадцатилетнего юноши, а скорее деловым обсуждением деталей — кто пойдёт добровольцем, какой корабль быстрее, сколько потребуется людей, чтобы наверняка не упустить цель.

Не все, впрочем, восприняли план с одинаковым энтузиазмом. Среди сотни с лишним женихов нашёлся один — Амфином, сын Ниса с острова Дулихия, — который с самого начала слыл среди своих товарищей человеком порядочным настолько, насколько вообще можно оставаться порядочным, добровольно участвуя в трёхлетней осаде чужого дома.

— Это дурная затея, — сказал он тихо, обращаясь скорее к паре ближайших приятелей, чем ко всему собранию разом. — Убить сына царя, пока сам царь, возможно, жив и просто в отлучке, — значит навлечь на себя гнев богов такой силы, что никакая женитьба на богатой вдове того не стоит.

— Боги давно не вмешиваются в наши дела, — фыркнул кто-то в ответ. — Иначе давно бы уже кто-нибудь из них появился и разогнал нас всех громом и молнией. Раз молчат — значит, не против.

Логика, конечно, хромала на обе ноги — боги, как известно любому, кто хоть немного знаком с их нравом, предпочитают появляться не заранее, предупреждая о недовольстве, а как раз в самый неподходящий для виновника момент, — но спорить с подобными настроениями, охватившими уже почти всё собрание, Амфином не рискнул. Он тихо отошёл в сторону, решив

для себя, что участвовать в самой засаде точно не станет, хотя и открыто мешать остальным тоже, к сожалению, не будет — трусость, конечно, но трусость, свойственная не ему одному в этом доме.

К вечеру план оформился окончательно: два десятка добровольцев во главе с самим Антином и его ближайшим приятелем Эвримахом снарядили быстроходный корабль и, дождавшись темноты, отчалили в сторону узкого пролива, где, по всем расчётам, должен был пройти корабль Телемаха на обратном пути домой.

Тем временем во дворце оставшиеся женихи, не участвовавшие в засаде, продолжали пировать как ни в чём не бывало — кто-то даже отпускал шутки насчёт того, что теперь-то уж точно скоро освободится место наследника, и можно будет обсудить, кому из них больше пойдёт итакийский трон, — совершенно не заботясь о том, что разговоры эти ведутся вслух, буквально в двух шагах от покоев самой Пенелопы.

Именно так весть о заговоре и дошла до царицы — не через тайное расследование или преданного шпиона, а благодаря чистой случайности и остаткам совести одного-единственного человека во всём этом доме.

Медонт, старый глашатай, служивший ещё при самом Одиссее и сохранивший к хозяйскому дому куда больше преданности, чем к новым временным хозяевам жизни, случайно подслушал разговор двух женихов во дворе — те, не таясь, обсуждали, кто первым метнёт копье, когда корабль Телемаха покажется в проливе. Медонт, не будучи храбрецом в привычном смысле слова — открыто выступить против сотни вооружённых наглецов он бы не рискнул, — всё же решил, что промолчать в подобном случае было бы уже слишком даже для человека его осторожности.

Он дождался темноты и тихо проскользнул в покои Пенелопы, где та, как обычно в эти дни, сидела у окна, глядя на море, — привычка, ставшая для неё почти ритуалом с того самого дня, как сын покинул остров.

— Госпожа, — прошептал Медонт, оглядываясь на дверь, будто опасаясь, что кто-то мог проследить за ним даже сюда, — у меня страшная весть, и я не мог оставить её при себе.

Пенелопа, услышав рассказ о засаде, побледнела так, что Медонт на мгновение испугался, не лишится ли она чувств прямо на месте. Но царица, при всей своей внешней хрупкости, обладала выдержкой, закалённой годами непрерывного давления, — она справилась с первым приступом ужаса быстрее, чем можно было ожидать, и тут же перешла к делу.

— Когда они отплыли? — спросила она резко, уже без следа прежней растерянности в голосе.

— Сегодня на закате, госпожа. Быстрый корабль, два десятка человек во главе с Антином.

— Значит, у меня в лучшем случае несколько дней, чтобы хоть что-то предпринять, — проговорила Пенелопа, глядя в темноту за окном, будто надеясь разглядеть там ответ. — Собери мне всех верных слуг, каких найдёшь в такой час. Нужно решить, есть ли хоть какой-то способ предупредить сына, прежде чем он попадёт в эту западню.

Дальнейшие несколько часов прошли в лихорадочных, но по большей части безрезультатных попытках хоть что-то сделать. Верная нянька Эвриклея, разбуженная среди ночи, пришла в ужас не меньший, чем сама Пенелопа, но практических советов дать не смогла — единственный корабль, способный догнать засадный отряд, давно ушёл вместе с самим Телемахом, а других мореходных судов, готовых к немедленному выходу в море, во дворце попросту не было.

— Может, послать весть на материк, к соседним царям? — предложила одна из служанок. — Пусть предупредят его на обратном пути.

— К тому времени, как весть доберётся хоть до кого-то, кто способен помочь, — покачала головой Пенелопа, — мой сын уже либо благополучно доберётся до дома, либо... — она не договорила, но все присутствующие и без того прекрасно поняли, что она имела в виду.

Отчаяние, охватившее царицу в эту ночь, было, пожалуй, самым сильным за все двадцать лет ожидания мужа. Прежде она хотя бы могла надеяться, что муж жив и просто задерживается по неведомым причинам, — надежда зыбкая, но всё же надежда. Теперь же над единственным оставшимся у неё близким человеком, родным сыном, нависла вполне конкретная, осязаемая угроза, и предотвратить её собственными силами она не могла при всём желании.

— Пусть боги вас всех покарают, — повторила она в ту ночь слова, которые уже произносила однажды, узнав об отъезде Телемаха, только теперь в её голосе звучало не просто отчаяние, а нечто похожее на настоящую, выстраданную ярость. — Если есть хоть капля справедливости в этом мире, пусть она вспомнит про этот дом раньше, чем будет поздно.

Заснула Пенелопа только под утро — не от спокойствия, а от чистого изнеможения, слишком долго державшего её в напряжении. И, как это иногда случается на самой грани отчаяния, сон принёс ей неожиданное облегчение.

Ей привиделась младшая сестра, давно умершая, — облик, который на самом деле, конечно, приняла всё та же неутомимая Афина, решившая, что царице пора дать хоть немного покоя перед новыми испытаниями.

— Не тревожься так сильно, — сказал призрачный образ сестры, присев на край постели. — Твой сын под защитой более надёжной, чем любой земной корабль или охрана. Не всякому смертному выпадает такая удача — путешествовать бок о бок с тем, кто способен отвести и копьё, и стрелу, и саму судьбу, если понадобится.

— А муж? — спросила Пенелопа во сне, не в силах отделаться от главного своего вопроса, преследовавшего её вот уже двадцать лет. — Жив ли он? Хоть что-нибудь скажи мне о нём.

Но образ сестры лишь покачал головой с сожалением.

— Об этом мне не позволено говорить, — ответила она уклончиво, что, конечно, было чистой правдой — Афина знала о судьбе Одиссея куда больше, чем могла себе позволить раскрыть даже во сне, поскольку окончательное решение об его возвращении домой всё ещё оставалось за советом богов на Олимпе, а не за одной лишь её собственной волей. — Но за сына своего не бойся. Обещаю тебе это твёрдо.

Пенелопа проснулась с рассветом уже не в том состоянии полного отчаяния, в каком засыпала, — тревога, конечно, никуда не делась, но к ней добавилось нечто похожее на слабый, едва тлеющий огонёк надежды, странным образом подкреплённый сном, который она сама не могла толком объяснить рационально, но который почему-то чувствовался правдивее обычного ночного видения.

Тем временем в проливе между Итакой и соседним островом Антиной со своим отрядом уже третий день терпеливо поджидал корабль Телемаха, расположившись на скалистом мысу с хорошим обзором на морской путь.

— Не мог же он плыть вечно, — раздражённо бормотал Эвримах, вглядываясь в горизонт. — Рано или поздно покажется.

Но горизонт оставался пуст день за днём — и вовсе не потому, что Телемах медлил с возвращением, а потому, что тот же самый невидимый покровитель, что превращался то в старого друга семьи, то в птицу на глазах у изумлённого Нестора, позаботился и о безопасном

маршруте домой. Пока засадный отряд напряжённо всматривался в привычные морские пути, Телемах — по совету всё того же Ментора, чьей истинной природы юноша к этому моменту уже не сомневался, — направил свой корабль обходным путём, минуя опасный пролив стороной, чтобы высадиться на другом берегу острова, вдали от глаз затаившихся убийц.

Женихи в засаде об этом, разумеется, не подозревали и продолжали упорно караулить пустое море, всё больше раздражаясь и всё больше подозревая, что мальчишка, возможно, попросту почуял неладное и вовсе не собирается возвращаться домой обычным путём.

— Может, он решил остаться у Менелая насовсем, — предположил один из отряда без особой уверенности.

— Или узнал про нас и передумал плыть вообще, — мрачно добавил другой.

Антиной на эти предположения только раздражённо отмахивался, но в глубине души и сам начинал понимать, что план, ещё несколько дней назад казавшийся безупречно простым, начинает трещать по швам самым необъяснимым образом — будто кто-то невидимый методично разрушал их расчёты один за другим, оставаясь при этом полностью незаметным для человеческого глаза.

И оставалось им пока лишь одно — сидеть в засаде дальше и ждать, сами не зная, чего ждут: то ли долгожданной жертвы, то ли момента, когда придётся признать полное поражение собственного, казалось бы, безупречного плана.

Но чем этот план закончится в итоге — и что тем временем происходило с самим Одиссеем, всё ещё запертым на далёком острове нимфы Калипсо, — об этом уже следующая глава.

Глава 6. Огигия: остров Калипсо

Пока на Итаке разворачивалась вся эта суматоха с засадами, снами и подслушанными разговорами, сам виновник торжества — Одиссей, царь Итаки, о котором столько лет вспоминали, гадали и спорили, — сидел на берегу далёкого острова и, выражаясь попросту, тосковал так, что смотреть на него было тяжело даже привычной ко всему прислуге нимфы, у которой он проживал уже седьмой год подряд.

Остров назывался Огигия — крошечный клочок земли посреди моря, настолько удалённый от всех обычных морских путей, что ни один смертный мореход в здравом уме туда бы попросту не заплыл. Место было, если совсем честно, райское: вечнозелёные рощи, источники с прозрачной водой, виноградные лозы, склоняющиеся под тяжестью гроздьев в любое время года, птицы, поющие с утра до вечера, и хозяйка — нимфа Калипсо, чья красота, по общему признанию всех, кто её видел, не уступала красоте самих богинь.

Казалось бы, живи и радуйся. Именно так, собственно, Одиссей и жил первые несколько лет — насколько вообще можно радоваться жизни, находясь вдали от дома против собственной воли, но с бессмертной возлюбленной под боком, вечным летом за окном и полным отсутствием бытовых забот. Калипсо кормила его на убой, ублажала со всем усердием, на какое способна нимфа, влюблённая в смертного мужчину настолько, что готова была предложить ему бессмертие взамен на согласие остаться с ней навсегда.

Но время шло, и то, что в первые год-два выглядело почти сказочным отпуском после десяти лет войны и скитаний, к седьмому году превратилось в изощрённую, хоть и невольную пытку. Каждое утро Одиссей выходил на скалистый берег и подолгу смотрел на горизонт — туда, где, по его расчётам, должна была находиться Итака, хотя, конечно, никакого способа проверить эти расчёты у него не имелось. Каждый вечер он возвращался во дворец Калипсо, ужинал с ней за одним столом, делил с ней постель — но взгляд его, по свидетельству нескольких нимф-прислужниц, оставался при этом каким-то отсутствующим, будто мыслями он всегда находился где-то за тысячи миль от роскошного острова, на котором физически проводил уже седьмой год подряд.

— Опять весь день на камнях просидел, — сказала как-то Калипсо, застав его в очередной раз на берегу, где он смотрел на волны с самого утра. — Что смертный муж, что смертная тоска — оба одинаково упрямы, как я погляжу. Еды у меня в достатке, вина довольно, ложе моё тебе не претит, насколько я могу судить. Так в чём дело?

Одиссей поднял на неё усталый взгляд человека, которому в тысячный раз приходится объяснять очевидное.

— Дело не в тебе, — ответил он мягко, стараясь не звучать при этом обидно, хотя за семь лет подобные разговоры давно перестали удаваться ему с прежней дипломатической лёгкостью. — Дело в доме. У меня есть жена, которую я не видел двадцать лет. Есть сын, которого я оставил младенцем и который теперь, наверное, уже взрослый мужчина, если, конечно, жив ещё. Есть царство, которым я обязан управлять, а не отдавать неведомо кому на разграбление, пока сам прохлаждаюсь на райском острове.

— Пенелопа, — произнесла Калипсо имя соперницы с той особой интонацией, с какой обычно произносят имена людей, которых заочно успели невзлюбить всей душой. — Простая смертная женщина, которая к этому моменту наверняка постарела и подурнела, если вообще ещё жива. Разве я хуже её? Разве недостаточно я хороша собой, чтобы ты предпочёл меня —

бессмертную, вечно юную, готовую сделать бессмертным и тебя самого, — какой-то смертной жене, чья красота увянет через десяток лет, даже если ты к ней вернёшься?

Вопрос был не праздный — Одиссею и правда предлагали бессмертие, что называется, всерьёз и без обмана: останься со мной навсегда, и старость с тобой никогда не случится. Предложение, от которого, казалось бы, ни один нормальный смертный отказаться не должен — вечная жизнь без страданий, без болезней, без неизбежного конца, ожидающего каждого человека, всё это в обмен на разлуку с женщиной, которую он не видел два десятилетия и о судьбе которой давно не имел никаких вестей.

— Дело не в том, кто красивее, — сказал Одиссей после долгого молчания, тщательно подбирая слова, чтобы не оскорбить хозяйку острова, от чьей милости, в сущности, зависела вся его дальнейшая жизнь. — Пенелопа смертна, да. Она постареет, да. Но она моя, понимаешь? Мой дом, моя семья, моя жизнь, которую я строил сам, своими руками, а не получил в подарок от благосклонной судьбы. Даже если бы ты предложила мне вечность в раю, я бы всё равно хотел провести хоть остаток дней в собственном доме, а не в чужом, пусть и куда более роскошном.

Калипсо тогда не ответила ничего — просто развернулась и молча ушла во дворец, а Одиссей ещё долго сидел на берегу в одиночестве, гадая, не разозлил ли он бессмертную хозяйку острова настолько, что теперь его положение станет ещё хуже прежнего.

Однако решить судьбу Одиссея предстояло не самой Калипсо, при всей её власти над собственным маленьким владением, а куда более высоким инстанциям, до которых, наконец, дошли настойчивые просьбы Афины.

На Олимпе, в отсутствие Посейдона — тот как раз отлучился к дальним народам эфиопов принимать положенные ему жертвы и оттого пропустил самое важное собрание богов за последние годы, — Афина в очередной раз подняла вопрос об Одиссее перед самим Зевсом.

— Сколько ещё этому человеку страдать? — вопрошала она с тем упорством, которое отличало её во всех делах, касавшихся любимого героя. — Он не сделал ничего, что заслуживало бы такого наказания, — разве что ослепил сына Посейдона, защищая себя и своих людей от прямой угрозы быть съеденными заживо. А теперь его сын тем временем рискует собственной жизнью, разыскивая отца, о котором никто вот уже двадцать лет не может сказать ничего определённого.

Зевс, надо признать, и сам давно был не прочь разрешить эту затянувшуюся историю — не столько из личной симпатии к Одиссею, сколько из общего принципа порядка: человек достаточно натерпелся, достаточно долго расплачивался за проступок, совершённый едва ли не по чистой необходимости, и пора было, наконец, поставить в этом деле точку, тем более что главный противник героя, Посейдон, как раз отсутствовал и не мог немедленно воспротивиться решению совета.

— Быть по сему, — согласился верховный бог. — Отправь Гермеса к Калипсо с моим приказом: пусть отпустит смертного домой без дальнейших проволочек. А ты позаботься о том, чтобы сын его благополучно вернулся с материка, минуя все ловушки, которые ему готовят на Итаке.

Гермес, вестник богов, славившийся не только быстротой, но и особым умением подать самую неприятную новость максимально изящно, отправился на Огигию, надев золотые сандалии, позволявшие ему перемещаться над водой и сушей с равной лёгкостью, будто на крыльях самого ветра.

Калипсо встретила его во дворце с обычным для нимф гостеприимством — усадила, поднесла амброзию и нектар, расспросила о новостях с Олимпа, — но стоило Гермесу озвучить настоящую цель визита, как её лицо переменялось так резко, что стало ясно: подобных гостей она бы предпочла не принимать вовсе.

— Отпустить его? — переспросила она с горечью, в которой смешались и гнев, и обида, накопленная за семь лет. — Вы, боги, всегда так поступаете — стоит смертной женщине, пусть и бессмертной по крови, полюбить простого человека, как тут же находится причина этому помешать. А когда богини сами берут себе смертных возлюбленных — Эос своего Ориона, Деметра своего Иасиона, — то небожители словно из зависти немедленно устраивают несчастному смертному какую-нибудь гибель. Вот и мне теперь велят самой оттолкнуть от себя того, кого я спасла собственными руками, когда он чуть не утонул, потерпев кораблекрушение, и выхаживала все эти годы с заботой, которой позавидовала бы иная смертная жена.

Гермес, впрочем, был вестником, а не судьёй, и препираться с недовольной хозяйкой острова у него не имелось ни полномочий, ни особого желания.

— Приказ есть приказ, — ответил он со всей возможной дипломатичностью, на которую был способен. — Зевс велел передать: если ты ослушаешься его прямой воли, последствия будут куда тяжелее, чем просто расставание с одним смертным мужчиной, каким бы дорогим он тебе ни был.

Калипсо долго молчала после этих слов, глядя в окно на море, а затем произнесла со вздохом, в котором звучало окончательное, хоть и вынужденное смирение:

— Хорошо. Я отпущу его. Но помогу ему на прощание всем, чем смогу, — ибо я не чудовище, что бы там ни говорили обо мне на Олимпе. Пусть хотя бы уходит от меня не с пустыми руками и не на голом плоту без всякой надежды выжить в открытом море.

Разговор с самим Одиссеем вышел, пожалуй, самым странным за всю историю их семилетнего сожительства. Калипсо нашла его, как обычно, на берегу, тоскующего и совершенно не подозревающего, что именно этот день окажется переломным во всей его многолетней одиссее.

— Хватит горевать, — сказала она, присаживаясь рядом с ним на камни, и в голосе её слышалась смесь горечи и решимости одновременно. — Я отпускаю тебя. Можешь строить плот и плыть домой, к своей смертной жене, коли уж тебе так неймётся вернуться к ней, а не остаться со мной в вечной юности и довольстве.

Одиссей, услышав эти слова, которых ждал долгих семь лет, отреагировал, признаться, не с той бурной радостью, которую можно было бы ожидать, — годы разочарований и несбывшихся надежд научили его относиться к любым обещаниям с известной долей осторожности, даже когда обещания эти исходили от бессмертной хозяйки острова, обладавшей властью буквально над каждым камнем на этой земле.

— Ты не обманываешь меня? — спросил он прямо, глядя ей в глаза. — Не проверяешь ли ты меня каким-то новым способом, чтобы убедиться в моей верности тебе, прежде чем снова передумать?

— Поклянусь тебе водами реки Стикс, если понадобится, — ответила Калипсо с оттенком обиды в голосе, — той самой клятвой, которую даже боги не смеют нарушить под страхом самого сурового наказания. Я не замышляю против тебя ничего дурного. Просто мне велено тебя отпустить — и я, как ни горько мне это, подчиняюсь воле того, кто выше меня.

Удовлетворившись этой клятвой — а клятва водами Стикса и правда считалась среди богов самой нерушимой из всех возможных, — Одиссей наконец позволил себе поверить в реальность происходящего, и на смену многолетней апатии в нём начала просыпаться прежняя, знакомая всем ахейцам под Троей энергия человека действия.

Строительство плота заняло у него четыре дня непрерывного труда — притом что Калипсо, верная своему обещанию, снабдила его всеми необходимыми инструментами: острым топором, теслом для обработки дерева, буравом для скрепления брёвен, и даже сама указала ему, какие деревья на острове лучше всего подходят для прочной постройки.

Одиссей работал с тем же азартом, с каким когда-то строил осадные машины под Троей или придумывал хитрости, помогавшие греческому войску одерживать победы там, где грубая сила не справлялась. Он срубил двадцать деревьев, тщательно обтесал каждый ствол теслом, буравом просверлил в брёвнах отверстия и скрепил их деревянными гвоздями и верёвками в прочный настил, установил мачту, сплёл из ивовых прутьев ограждение по бокам плота, чтобы защититься от захлёстывающих волн, и, наконец, соорудил простое, но функциональное рулевое весло.

Калипсо, наблюдая за этой работой со стороны, испытывала, судя по всему, чувства крайне противоречивые — с одной стороны, данное слово обязывало её помогать его отплытию всеми доступными средствами, с другой стороны, каждый забитый гвоздь, каждая обтёсанная доска приближали момент, когда мужчина, которого она полюбила и с которым провела семь лет, навсегда исчезнет из её жизни.

На пятый день, когда плот был окончательно готов, Калипсо снарядила его в дорогу с той же щедростью, с какой в своё время принимала его на своём острове: снабдила запасом хлеба и вина на много дней пути, свежей водой в прочных бурдюках, тёплой одеждой на случай непогоды, и в последний момент, уже перед самым отплытием, наколдовала для него попутный, ровный и надёжный ветер.

— Прощай, — сказала она просто, стоя на берегу, пока Одиссей поднимался на свой самодельный плот. — Не знаю, вспомнишь ли ты меня когда-нибудь добрым словом, или же семь лет, проведённых здесь, останутся в твоей памяти лишь досадной задержкой на долгом пути домой. Но знай — что бы ты обо мне ни думал, я хотя бы сдержала слово и отпустила тебя, как и обещала, а это, поверь, для бессмертной куда труднее, чем может показаться простому смертному.

Одиссей, стоя на своём плоту и глядя на удаляющуюся фигуру нимфы на берегу, испытывал, надо признать, чувства не менее противоречивые, чем сама Калипсо, — благодарность за семь лет заботы и крова, облегчение от того, что мучительное ожидание наконец закончилось, и лёгкий, едва уловимый оттенок вины за то, что радость его отъезда неминуемо станет для хозяйки острова источником горя.

Семнадцать дней плот Одиссея шёл по открытому морю без единой заминки — Одиссей правил рулевым веслом днём и ночью, ориентируясь по звёздам, как учила его когда-то Афина, а попутный ветер, наколдованный Калипсо, надёжно нёс самодельное судёнышко в нужную сторону.

Но на восемнадцатый день, когда впереди уже начали проступать на горизонте очертания земли — по всей видимости, острова феаков, куда, собственно, и вёл Одиссея его невидимый путь, — случилось то, чего опасался в глубине души каждый моряк, знакомый с непредсказуемым нравом морской стихии: Посейдон, возвращавшийся в это время от эфиопов на своей колеснице и проезжавший мимо гор Солимов, заметил оттуда, с высоты горного хребта, небольшой плот, идущий по его владениям, и, приглядевшись повнимательнее, узнал в одиночном путнике того самого человека, что ослепил его любимого сына, циклопа Полифема.

— Вот, значит, как, — процедил бог морей с яростью, копившейся все эти годы. — Пока меня не было на Олимпе, остальные боги решили без меня облегчить участь моего врага. Что ж, посмотрим, как далеко он уплывёт теперь, когда я лично взялся за дело.

Он поднял свой трезубец и с силой ударил им по волнам, взбаламутив разом всё море — сгустил тучи, сорвал с четырёх сторон света противоборствующие ветра и обрушил их разом на одинокий плот, будто нарочно устроив бурю такой мощи, какую редко видели даже опытные мореходы.

Волны выросли размером с горы, небо потемнело так, что день стал похож на глухую ночь, а плот Одиссея, ещё недавно уверенно рассекавший спокойные воды, теперь швыряло из стороны в сторону с такой яростью, что удержать его на курсе не представлялось никакой возможности.

— Горе мне! — вскричал Одиссей, цепляясь за остатки мачты, пока волны одна за другой обрушивались на его хрупкое судно. — Лучше бы я погиб под Троей вместе со всеми, кто пал там смертью, достойной героя, чем теперь бесславно утонуть в открытом море, так и не увидев больше ни жены, ни сына, ни родного дома!

Мачта, не выдержав напора очередной особенно яростной волны, с треском переломилась пополам, паруса и снасти рухнули в бушующее море, а самого Одиссея огромной волной смыло с плота в холодную, ревущую пучину, где он, тяжело нагруженный одеждой, которую предусмотрительно дала ему в дорогу Калипсо, начал стремительно погружаться на дно, едва не захлебнувшись при первом же глотке солёной воды.

Спасла его в этот критический момент — как это часто случалось в его богатой на приключения жизни — вовремя подоспевшая помощь свыше, на этот раз в лице морской богини Левкотеи, некогда бывшей смертной женщиной по имени Ино, а после смерти обретшей бессмертие и покровительство над моряками, терпящими бедствие.

Она вынырнула рядом с тонущим Одиссеем в облике чайки, а затем на мгновение приняла собственный истинный облик, чтобы обратиться к нему напрямую.

— Несчастный, — сказала она с искренним сочувствием, — за что только Посейдон так на тебя ополчился, что решил утопить непременно сегодня? Впрочем, погибнуть ему всё равно не удастся, как бы он ни старался. Сбрось с себя одежду, что тянет тебя на дно, оставь свой плот на волю волн — он всё равно тебе больше не поможет, — и возьми вот это покрывало. Обвяжи его вокруг груди, и оно не даст тебе утонуть, сколько бы ни бушевало море. А как только доберёшься до суши, немедленно брось покрывало обратно в море, отвернувшись, и не оглядываясь, покуда полностью не выйдешь на берег.

С этими словами она вручила ему своё волшебное покрывало и снова исчезла в волнах, обернувшись чайкой, а Одиссей, оставшись один посреди бушующей бури, ещё долго колебался, стоит ли довериться совету случайной морской незнакомки или лучше держаться за остатки собственного плота, пока тот окончательно не развалится под напором волн.

Здравый смысл в конце концов победил гордость — Одиссей дождался момента, когда очередная волна разбила плот в щепки окончательно, обвязал вокруг груди подаренное покрывало, скинул тяжёлую одежду и бросился вплавь навстречу неизвестности, полагаясь теперь уже не столько на собственные силы, сколько на милость богов, которые то мучили его годами, то в последний момент неизменно приходили на выручку, будто испытывая какое-то извращённое удовольствие от подобных резких перемен его судьбы.

Два дня и две ночи он боролся с волнами в открытом море, то теряя, то вновь обретая последние силы, пока наконец не заметил вдали, сквозь пелену измождения и солёных брызг, очертания берега — того самого острова феаков, к которому изначально и держал курс его несчастный плот, прежде чем Посейдон решил вмешаться в это плавание лично.

Но добраться до этого берега целым и невредимым оказалось задачей ничуть не легче, чем пережить саму бурю, — и о том, как измученный, полуутонувший герой в итоге всё же выбрался на сушу, будет рассказано уже в следующей главе.

Глава 7. Феаки находят Одиссея

Два дня и две ночи, проведённые в открытом море, оставили от некогда крепкого и уверенного в себе героя Троянской войны существо, которое в лучшем случае можно было бы принять за побитого штормом моряка с давно затонувшего судна, а в худшем — просто за грудку мокрых тряпок, случайно прибитую волной к незнакомому берегу.

Когда наконец под ногами Одиссея вместо бесконечной толщи солёной воды появилось твёрдое дно, он не сразу поверил собственным ощущениям — настолько вымотанным было тело после двух суток непрерывной борьбы с волнами. Покрывало Левкотеи, спасшее его от неминуемой гибели, он, как и было велено, отвязал от груди и швырнул обратно в море, не оглядываясь, а затем побрёл, спотыкаясь и падая, к устью какой-то реки, впадавшей в море неподалёку, — течение там было слабее, а берег отлогий, что для человека в его состоянии значило разницу между спасением и очередной, теперь уже окончательной, гибелью буквально в шаге от суши.

— Услышь меня, речной бог, кем бы ты ни был, — пробормотал он, из последних сил цепляясь за прибрежные камни, пока волны прибоя всё ещё норовили утащить его обратно в море, — я твой проситель, беглец от гнева самого Посейдона. Даже боги, я слышал, порой жалеют скитальцев вроде меня.

Река — а у неё, судя по всему, и правда имелся свой покровительствующий дух, как это обычно бывает с реками в здешних краях, — то ли услышала мольбу, то ли просто её течение в этом месте оказалось достаточно спокойным само по себе, но так или иначе Одиссею наконец удалось выбраться на сушу, минуя последнюю полосу прибоя.

На берег он выполз, если называть вещи своими именами, а не вышел — колени подкашивались, руки дрожали от многочасового напряжения, а солёная вода, которой он успел наглотаться в избытке, то и дело подступала к горлу новыми приступами тошноты. Первым делом, ещё не в силах даже толком оглядеться по сторонам, он рухнул прямо на прибрежный песок и какое-то время лежал неподвижно, просто дыша, — само по себе дыхание в этот момент казалось ему подвигом не меньшим, чем десять лет войны под стенами Трои.

Придя немного в себя, Одиссей наконец сумел оценить обстановку — и обстановка эта, честно говоря, не слишком располагала к оптимизму. Голая, незнакомая местность: ни признаков жилья, ни дороги, ни хотя бы намёка на то, в какую сторону света он вообще попал после стольких дней плавания. Сам он остался ровно в том виде, в каком бросился в море двумя днями раньше, — то есть безо всякой одежды вовсе, если не считать нескольких налипших на кожу водорослей, — тело покрывали ссадины и синяки от постоянных ударов о прибрежные камни, а из имущества при нём не осталось решительно ничего — ни оружия, ни денег, ни даже простого ножа, чтобы хоть чем-то защититься в случае встречи с диким зверем или, того хуже, недружелюбными местными жителями.

— Вот и приплыл, — пробормотал он себе под нос с той особой горькой иронией, которая давно стала для него единственным способом хоть как-то справляться с бесконечной чередой несчастий. — Царь Итаки, победитель Трои, а лежу голым на неведомом берегу без гроша за душой, будто последний нищий бродяга.

Тем не менее, разлёживаться на открытом берегу в его положении было бы совсем уж неразумно — ночная прохлада, а с ней и риск замёрзнуть насмерть после столь тяжёлого испытания, уже давали о себе знать. Собрав остатки сил, Одиссей побрёл вдоль берега в поисках хоть какого-то укрытия и в итоге наткнулся на небольшую рощицу, где два оливковых дерева

— дикое и садовое — так тесно переплелись ветвями, что образовали под собой нечто вроде естественного шалаша, надёжно защищённого и от ветра, и от посторонних глаз.

Забравшись под этот природный навес, он нагрёб побольше опавшей листвы, устроил себе некое подобие постели и, зарывшись в неё с головой, почти мгновенно провалился в тяжёлый, полный измождения сон — сон настолько крепкий, что даже Афина, решившая присмотреть за своим подопечным и в эту, казалось бы, самую безопасную для него ночь, могла быть спокойна: разбудить его сейчас не сумела бы, пожалуй, даже новая буря.

Пока Одиссей спал беспробудным сном под оливами, богиня отправилась в город феаков — благо, остров этот, как оказалось, был обитаем, просто добраться до него по морю пришлось с той стороны, где ближайшее поселение отстояло от места высадки на приличное расстояние.

Афина явилась во сне юной царевне Навсикае, дочери здешнего царя Алкиноя, приняв облик её близкой подруги, — и, как это обычно бывает во снах, навеянных богами, начала разговор с самых будничных, на первый взгляд, вещей.

— Навсикая, — сказала мнимая подруга с лёгким укором, — как же ты можешь так небрежно относиться к своим нарядам? Твоя свадьба, что ни говори, не за горами — все женихи острова только и делают, что заглядываются на тебя, — а одежды твои и родителей твоих лежат неглаженные и непостиренные грудой в кладовых. Не пристало царевне выходить замуж в мятном платье, доставшемся по наследству от неаккуратности собственной хозяйки.

Тонкий психологический расчёт этого сна, разумеется, целиком принадлежал самой Афине, прекрасно понимавшей девичью душу: прямое указание идти стирать бельё ради спасения какого-то незнакомого чужестранца прозвучало бы для юной царевны, пожалуй, странно и подозрительно, а вот напоминание о собственной свадьбе и необходимости выглядеть безупречно — это уже совсем другое дело, куда более действенный рычаг для девушки её возраста.

— Попроси отца, — продолжала мнимая подруга, — чтобы дал тебе повозку с мулами — свезти всю грудку одежды к дальним заводам, где течёт чистая проточная вода, удобная для стирки. Отсюда до тех мест не близко, так что разумнее отправиться туда с утра пораньше, всей компанией близких подруг, а заодно и развеяться немного — не всё же дома сидеть.

Проснувшись поутру, Навсикая, разумеется, не помнила, что весь этот план ей, по сути, подсказала богиня, — ей казалось, что мысль о поездке к дальним заводам пришла в голову совершенно самостоятельно, что, в общем-то, довольно точно описывает обычный метод работы Афины: не приказывать напрямую, а тонко подталкивать смертных к решениям, которые те впоследствии искренне считают целиком своими.

Царь Алкиной, услышав просьбу дочери, не увидел в ней ничего необычного — подобные вылазки к дальним заводам для стирки были для здешних девушек делом привычным, почти праздничным, и уж точно не поводом для отказа заботливого отца родной дочери.

— Возьми повозку, — согласился он без малейших колебаний, — и вели слугам погрузить туда всё, что накопилось за последние недели. А заодно возьми с собой еды и вина на дорогу — работа предстоит немаленькая, нечего девушкам трудиться на голодный желудок.

Навсикая, обрадованная лёгкостью, с какой удалось выпросить у отца одобрение, тут же собрала компанию из нескольких близких подруг-служанок, погрузила на повозку целую гору грязного белья, корзины с провизией и кувшины с оливковым маслом для умащивания после купания, — и всей весёлой гурьбой отправилась в путь, распевая песни и явно предвкушая скорее приятную загородную прогулку, чем утомительную домашнюю работу.

Добравшись до места — заводей, где река образовывала удобные для стирки естественные бассейны с чистой проточной водой, — девушки первым делом распрягли мулов, пустив их пастись неподалёку, а затем принялись за дело: выстирали всю привезённую одежду, тщательно прополоскали её в чистой воде и разложили сушиться прямо на прибрежных камнях под жарким полуденным солнцем.

Пока бельё сохло, девушки, проголодавшись после утренних трудов, устроили небольшой пикник тут же, на берегу, а затем, умастившись оливковым маслом и искупавшись в чистых водах реки, принялись за игру в мяч — развлечение, судя по всему, столь же обычное для здешней молодёжи, как для итакийских женихов обычным было безнаказанно объедать чужой дом.

Навсикая, как и полагается царевне, играла в мяч наравне со всеми, но выделялась среди подруг той особой статью и грацией, которая безошибочно выдавала в ней не просто одну из девушек компании, а истинную дочь царя — примерно так же, как богиня Артемида, если верить старым песням, всегда выделялась среди своих лесных нимф-спутниц, даже когда те резвились все вместе на одном лугу.

Именно в разгар этой беззаботной игры и произошло то событие, которое, собственно, свело девичью компанию с измождённым, спящим под оливами героем.

Одна из служанок, неудачно бросив мяч, промахнулась мимо подруги, и тот, отскочив, с громким плеском угодил прямо в реку. Девушки, привыкшие к подобным мелким неурядицам, дружно завизжали от восторга и досады одновременно — визг этот получился настолько звонким и пронзительным, что разнёсся далеко по округе, докатившись в итоге и до оливковой рощицы, где всё ещё крепко спал совершенно обессиленный Одиссей.

Проснулся он резко, рывком, с тем инстинктивным напряжением всех мышц, которое вырабатывается у человека годами войны и постоянной опасности, — не понимая спросонья, куда он вообще попал и что за странные звуки его разбудили.

— Что за земля на этот раз, — пробормотал он, выбираясь из-под своего листового укрытия и осторожно выглядывая наружу, — куда меня в очередной раз занесло? Люди ли здесь живут, звери ли дикие, а может, и вовсе никого нет, кроме случайного эха.

Проблема заключалась в том, что из одежды на нём не осталось решительно ничего, кроме собственной кожи да пары сухих веток, случайно прилипших к волосам за ночь, — представать в подобном виде перед незнакомыми людьми, тем более, судя по звонким девичьим голосам, перед молодыми женщинами, было, мягко говоря, неловко даже для человека, повидавшего на своём веку куда более серьёзные испытания, чем неудобство наготы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.